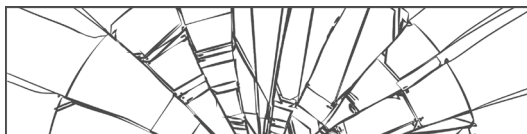


ТЫ



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)



Привилегия, которую Мнемозина предоставляет Аиду, заключается в чем-то вроде контракта с потусторонним миром, в возможности свободно входить в него и вновь возвращаться. Прошлое оказывается одним из измерений потустороннего мира.

Мирча Элиаде. Аспекты мифа. Пер. В. Большакова

Ты вспоминаешь о своем детстве так, будто оно принадлежит кому-то другому, некоему герою твоих же комиксов, покорителю женских сердец с мерцающих ТВ-экранов: Тимоти Шаламе, Райану Гослингу или Тому Холланду, но точно не тебе. Эти мысли беспокоят тебя в холодном августе, пока ты ждешь старенький автобус — ошметок предсмертного дыхания иного века — и пьешь отвратительный капучино, который тебе приготовили из пакетика сухого молока и гранулированного кофе, залили кипятком и предложили сахар, но сахар ты давно не ешь. С чего начать твое детство? Какое воспоминание станет точкой отсчета? Ты не видишь. Чувствуешь.

Это нестерпимая боль в груди.

Детство начинается с порванного рисунка; каждый такой — палка-палка-огуречик — это гниющий рубец на сердце. Хрустит бумага — а будто хрустят ребра. Ты, как и миллионы других детей, с годами забываешь ее источник, но в минуты грусти и отчаяния, склонившись

над письменным столом и потирая сонные глаза, вдруг чувствуешь фантомные уколы.

Да. Ты не видишь иной точки отсчета.

И рисунок рвется.

Ты возишься с цветными фломастерами, которые вы купили по дороге из садика в палатке с большой надписью «ПЕЧАТЬ» за несколько минут до того, как тетенька с пальцами-сосисками, улыбнувшись тебе, закрыла окошко и вышла курить, но ты сделал вид, что не заметил. Ты не стремишься ничего изобразить, цвета сами просятся на бумагу, заползают в уши, как насекомые, вместе со звуками: мама шумит горячим феном прямо в гостиной, накручивает рыжие локоны на бигуди — пока она на работе, ты таскаешь их, чтобы поиграть, — и напевает «ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех!»*. Ты не понимаешь, зачем и почему для всех нужно быть смешным, но чувствуешь цвета этого Арлекино: белый — такого фломастера нет, но есть бумага, — голубой, фиолетовый и черный. Песня кончается, и мама, безумная фанатка, включает новую на кассете. Ах, жизнь такая штука, Мэри, — цвета другие, оранжево-желтые, красные, сочно-зеленые. Вся твоя жизнь, хоть ты вовсе и не Мэри, а Петр Ильич — это ты запомнил сразу, повторяя за взрослыми: «Как Чайковский!» — наполнена песнями Пугачевой, они — твои путеводные звезды, они — пророчества и суеверия, среди которых ты растешь. Они заставляют маму быть похожей на *ту, которая поет*, хотя петь мама вовсе не умеет. Зато всегда включает этот цветной голос, пропущенный сквозь ворчливые шипящие динамики, и ты берешь фломастеры, карандаши, мелки — все, что под руку попадется, — и рисуешь...

* Алла Пугачева, «Арлекино», 1978 г.

Но ты обманываешь сам себя. Ведь рисунок рвется. Вот твоя точка отсчета.

Ты роняешь фломастеры и плачешь, сам не понимая почему. Мама сперва не слышит твоих криков за шипением фена и хрипом музыки; вскоре опускает взгляд, включает фен, но не ту, которая поет. Мама садится на полу рядом с тобой, обнимает, одной рукой собирает раскатившиеся по коврику фломастеры и утешает: «Ну-ну, все хорошо, что с тобой случилось, ты ударился, поранился?» Из соседней комнаты появляется бабушка, но за собственными слезами — тебе кажется, что кричит кто-то другой, и тебе больно оттого, что больно ему, — ты не замечаешь извечного громкого шарканья ее изношенных тапок. Теперь уже она обнимает тебя, отпускает маму собираться дальше; как только бабушка касается тебя морщинистыми пальцами — тут же вновь змеей шипит беспокойный фен, — ты чувствуешь на ее ладонях горячую фломастеровую кровь, следы преступления, совершенного во имя порядка. Даже не попыталась умыть руки. Много позже, когда в школе тебе будут рассказывать о древних державах и их кровавых жертвоприношениях, ты вспомнишь это касание и поймешь, что то была смерть жертвенного теленка — твоего кривого рисунка, — ведь бабушка, ласково поглаживая тебя по голове, тут же принялась приговаривать, вкладывать судьбу в твои уши, как старый еврей — волшебные слова в грудь неживого голема: *«Что ты милый не беспокойся ты будешь самым лучшим самым красивым самым великим все у тебя сбудется уж я-то постараюсь просто запоминай что я тебе говорю»*.

Она шепчет тебе каждую ночь, перед тем как выключить забавную настольную лампу в форме карандаша и поцеловать в лоб, и это всегда слова о твоём прекрасном будущем; слова, сладкие, как молоко с медом и маслом, так

любимое в дни тяжелых простуд, когда можно прогуливать школу и смотреть на осенний ливень за окном, укутавшись в теплое одеяло. И волшебные наговоры ее — капля в море.

Ты растешь в мире суеверий, примет и мнимого волшебства, и твоя бабушка, главная волшебница, состарившаяся Медея, распространяет эту тлетворную и неизлечимую заразу, ползущую по вашей двушке и дальше, дальше, дальше: по дворам, по магазинам, по школе; ты чувствуешь это горько-сладкое волшебство даже в бабушкином дыхании. Она обязательно сыпет сахар поверх просыпанной соли, она следит, чтобы никто не ронял ни вилки, ни ложки, ни ножа, она строго-настрого запрещает передавать вещи через порог, требует мыться с хозяйственным мылом, если вдруг повстречался на улице с черной кошкой, запрещает лечить кашель, пока сама внимательно, как врач-самоучка, не прислушивается к его ритму, ведь то может быть денежный кашель, а его ни в коем случае нельзя губить лекарствами, он — к большой удаче и большому состоянию. И мама вторит ей — ты до сих пор не знаешь, специально или, подобно прилежной ученице, инстинктивно, — пополняет бесконечную вереницу примет. Расстановка мебели в квартире, распорядок дня, заготовленная на неделю еда, походы по магазинам — все подчиняется бабушкиным советам, журнальным гороскопам, телевизионным передачам — ты прикладываешь руки к экрану, пока там с умным видом вещает странный дяденька в полосатом свитере, — и, в конце концов, движению звезд: Меркурий входит в Близнецов, Венера в пятом доме, парад планет в ночь на четверг...

И вот в твоём детстве, которое принадлежит кому-то другому — тебе не избавиться от этой мысли, — начинается нечто новое. Воспоминания спутаны, смазаны, вечно меняются местами, кажутся не более чем волшебными

снами, страницами твоего любимого комикса, где художник перемудрил с цветами и пропорциями, все слилось, ничего не понятно, лишь отдельные кадры выделяются на общем фоне. Но иногда ты заставляешь себя вспомнить. Зачем? Ответов много. Порой ты говоришь — чтобы лучше понять себя. Такой ответ прекрасно подошел бы психологу, если бы ты посещал его. Порой ты говоришь — чтобы вспомнить о счастье. Такой ответ прекрасно бы подошел твоей девушке, если бы она у тебя была. Порой ты говоришь — чтобы понять, кто виноват во всех бедах. Такой ответ прекрасно подходит тебе самому.

Но теперь, стоя на пороге чужого дома и не веря в происходящее, ты вспоминаешь все, чтобы ответить на совсем другой вопрос: как я здесь оказался? И как это возможно?

Вот он, еще один кусочек заколдованного бабушкой детства — мира иного, волшебного. В детском саду ты воротишь нос от печеночных оладушек, ноги в плотных колготках чешутся, а когда объявляют тихий час и уходит покурить воспитательница, Акулина Петр-р-ровна — вы всегда тянете «р» на вороний манер, она, с заплывшим глазом и чересчур густой тушью, напоминает вам Бабу-ягу, — ты рисуешь детсадовскими крошащимися карандашами, пока мальчики заглядывают под юбки девочек: те, воспользовавшись отлучкой воспитательницы, сами пришли и стали их поднимать; это игра, детская любознательность, не более. А когда воспитательница возвращается — вы давно научились это предугадывать по тяжелым вздохам и шаркающим шагам, — ты прячешь рисунки с карандашами под подушку, закрываешь глаза, натягиваешь душное одеяло до носа — и ерзаешь, ведь теперь, помимо колготок, колются простыни, подушка. Рисуешь ты и вечером — смотришь на снегопад за окном, высовываешь язык и мечтаешь ловить снежинки, но, пока

ждешь вечно опаздывающую маму, снегопад заканчивается. Мама наконец приходит. Акулина Петровна отводит ее в сторону, достает какие-то листочки — тогда ты не догадываешься, что она нашла часть твоих рисунков, забытых под подушкой, — и говорит с мамой, кажется, целую вечность. Ты слышишь разговор обрывками; со временем, возвращаясь к воспоминанию, достраиваешь его до чего-то слишком аккуратного, киношного.

— Обратите внимание на эти рисунки, Алла Сергеевна. Он постоянно рисует — и рисует неплохо, поверьте мне, тем более для этого возраста. Моя Машенька ходит в *волшебную школу*. Попробуйте отдать Петю, когда подрастет. Видите — он и сейчас рисует, пока подслушивает нас, негодник!

Ты так и запоминаешь — «волшебную школу». Помыслить не можешь, что ослышался. Позже, посмотревшись кино про мальчика, который выжил, вечерами ты замираешь у окна и ждешь, когда в стекло ударится сова, когда посмотрит на тебя большими умными глазами; тогда-то ты распахнешь створку, впустив морозный воздух и снежинки, и пусть после даже сляжешь с ангиной, чередуя таблетки с теплым медово-масленным молоком, зато получишь письмо с восковой печатью, приглашение в волшебную школу рисунков, где Машенька, наверное, уже выпускница, все тебе покажет и расскажет, а потом суровая говорящая шляпа определит тебя, сказав: гуашь! Нет, нет, карандаши! Нет, мелки! Нет... фломастеры!

Вслед за морозным воздухом мечтаний приходит настоящий холод: щеки покраснели, ушанка сползла на лоб. Ты получаешь снежком прямо по куртке, сгибаешься, как учил пузатый физрук, поправляешь шапку и видишь противников из-за снежных баррикад: ты с Пашкой против Вовки с Сережкой, силы неравны, Вовка больше вас

обоих, в черном школьном костюме он похож на секретного агента, и его никто не дразнит, наоборот — все уважают. Вы резвитесь недалеко от школы, около гаражей, где собираются дети и их бабушки — бабушка ребенку друг, па-па-па-ра-пам, напеваете вы; вокруг картонки, синие ледянки, желтые ведерки, снежные крепости и снеговики без морковок — их из дома брать не разрешают. В тебя летит еще один снежок, и еще, и еще — по правилам игры ты должен упасть и прикинуться мертвым, но ты забываешь о всяких правилах, быстро лепишь один снежок за другим, кидаешь невпопад и наконец попадаешь. Слышишь, как ругается Вовка — он, самый большой из вас, первоклашек, знает самые большие и взрослые слова, — и ликуешь, заваливаешься в сугроб, кричишь:

— Получи! Это моя суперспособность!

— Нет! — возмущается Сережка в ответ. Подбегает к тебе, встает, уперев руки в боки. Солнце слепит глаза, ты шуришься. — Не бывает такого! Таких способностей!

— А вот и бывают! — Ты высовываешь язык.

— А вот и нет! — подключается уже отряхивающийся Вовка.

— А вот и да! Я вам докажу и покажу.

Вовка с Сережкой вдруг замолкают. Тишину нарушает Пашка.

— Это как так? — Он поправляет шапку.

— А я... а я... — Не придумав ничего лучше, ты вскакиваешь. Сначала хочешь выкрикнуть, но потом жестом подзываешь противников и соратников к себе и шепчешь, вспоминая, как делает бабушка, когда не хочет, чтобы ее слышали: — Я вам ее *нарисую*! Вот так, что вы поверите, а?

И ты толкаешь Вовку в снег, и он снова ругается колдовскими словами, но резко замолкает. Слышит над собой строгое женское:

— Мальчики! Где вы таких слов понахватались?! И что вы тут устроили, у вас же снег уже и за шиворотом, и в ботинках. Потом заболеете!

— Ну ма-а-ам, это же будет только потом, — жалобно тянешь ты. — Сейчас же нам ве-е-е-есело.

— А потом будешь просить перестать кормить тебя таблетками и куриным супом! — Она отряхивает твои шуршащие болоньевые штаны, поправляет шапку. — Пойдем домой. Уже пора. Ты ведь теперь взрослый мальчик. Тебе надо делать уроки.

И, распрощавшись с друзьями, ты уходишь, но думаешь не о курином супе и таблетках, а обо всем другом, ждущем во время болезни: о монетках, начищенных содой и спрятанных под подушку; о натертой редьке с черным перцем, приложенной ко лбу; о самом колючем пледе из дальнего угла шкафа, который, как всегда шепчет бабушка, отгоняет болезни, не дает им коснуться тебя когтистыми пальцами — им неприятно от одного запаха старой шерсти; тебе тоже неприятно, и ты твердишь про себя «не болеть, не болеть, не болеть» так же настойчиво, как каждый вечер в гостиной из телевизора, странно водя руками, провидцы всех мастей твердят «вы будете богаты, вы будете богаты, вы будете богаты», и мама с бабушкой зачем-то закрывают глаза, глубоко дышат.

Уже стемнело. Вы идете мимо загоревшихся фонарей, и ты почему-то вспоминаешь новогоднее кино на дисках, про Гринча и про Рудольфа, и обязательно ждешь чуда, хотя еще не до конца понимаешь, как оно работает: чудо — когда дарят любимую игрушку, чудо — когда мама во время болезни пересматривает с тобой «Индиану Джонса», чудо — когда отменяют уроки. Вдруг начинается снег, ты останавливаешься, высовываешь язык, ловишь снежинки и наслаждаешься приятным холодком во рту.

— И все же ты решил заболеть, — вздыхает мама. — Ладно, лучше Расскажи мне, что ты хочешь на Новый год?

— Что я буду просить у Деда Мороза?! — Ты пугаешься, сжимаешь обветренные губы. Сухая кожа колется. — Зачем тебе? Я не скажу! Тогда он ничего не принесет!

— Это ты у бабушки нахватался? — Получив кивок, мама почему-то смеется. — Понятно. Ой, жизнь такая штука, Петя... — напевает она на мотив любимой песни, трогает твои руки — ты сам не заметил, как они замерзли, — надевает варежки на резинках. — Нет, я не про Деда Мороза. Что ты хочешь от меня?

— Я... — Ты не любишь этот вопрос, а его задают каждый год, выбирать все сложнее. Слишком много всего вокруг: новых биониклов, дисков со всеми сериями «Скуби-ду» и «Приключений Джеки Чана», конфет-шипучек, которыми угощали в классе, йо-йо на цветных веревочках, лизунов, растущих в воде яиц динозавров... Но сейчас ты знаешь ответ. Вспоминаешь обещанное ребятам; вспоминаешь услышанное когда-то давно, во времена ящеров из твоих любимых книжек, из разговора мамы и старой Акулины Петр-р-ровны. Время — тающий морозный узор на стекле. — Я хочу нарисовать суперсилу! Значит, нарисовать героя! Я обещал! И для этого мне нужно в волшебную школу. В ту, которую...

Ты не успеваешь вспомнить имя той фантастической — может, выдуманной вовсе? — девочки с разноцветной волшебной палочкой — так себе ее представлял. Мамин задорный смех пугает тебя. Вдруг она стала той тетенькой из радиоприемника? Той тетенькой, которая поет? Стала смешной для всех?

— А ты ведь помнишь. Надо же. — Вы добираетесь до подъезда. Мама останавливает тебя, вновь отряхивает спереди и сзади, поправляет бесконечно сползающую

шапку, сдувает с нее снег. — Бабушке в таком виде показываться нельзя. Вот теперь пойдем. А про волшебную школу... я тебя поняла. Странно, что ты не попросил этого у Деда Мороза. Вообще-то волшебники ответственны за все волшебство.

И тут ты понимаешь, что сам все испортил: в животе холодеет, земля уходит из-под ног, ты спотыкаешься, но не падаешь, мама ловит тебя, думает — просто устал, но ты в ужасе — упустил единственный шанс попасть в волшебную школу, всегда просил у Деда Мороза дурацкие игрушки, а мог бы уже сидеть и, поднимая то одну руку, то вторую, заполнять листы бумаги пестрыми цветами, делать картинки, висящие на стенах кабинета ИЗО: всем классом вы долго вглядывались, строили догадки, что же на них, пока старая учительница не пояснила — это *абстракция*, вам о таком знать рано; если доживет, она обязательно об этом расскажет. На глаза наворачиваются слезы, и мама утешает тебя — думает, ушибся, неудачно ударился ногой; ты ударился самым сердцем, тебе больно внутри, но эта боль терпима, она — ничто в сравнении с порванными детскими рисунками.

Теперь ты собираешь их в особую папочку, которую выпросил у мамы, и прячешь в маленьком шкафу между «Гарри Поттером» и «Часодеями». Вдруг понимаешь: нет, ничто не потеряно, ведь ваша квартира сама окутана волшебством, и даже Дед Мороз побоится переступить ее порог, мама с бабушкой постарались, окружили тебя талисманами и ритуалами, журнальными вырезками гороскопов. Услышав от одной из соседок древнее поверье, открыли все окна этим летом, в праздник, как они назвали его, Ивана Купалы, чтобы по комнатам пронесся сперва солнечный ветер, а потом, когда на небе засияла большая, желтая, страшная луна — похожая на чей-то глаз, ты даже

нарисовал его, этот огромный глаз монстра, желтыми маркерами! — ветер лунный, подчиняющий духов, призывающий денежный кашель, который бабушка не переставала выслушивать, когда кто-то из вас — ты или мама — болел.

Время течет неизбежно. Заканчиваются очередные выходные, и темным зимним утром, натянув колючие колготки под неудобные синие брюки, приходится шагать в школу, опять и опять, — затем наступает заветное тридцать первое декабря. Сколько лет ты ждешь волшебного письма в школу цветов и форм? Кажется — вечность. В этот день ты только завтракаешь; дальше терпишь, ничего не ешь, смотришь, как мама с бабушкой режут салаты под пение из телевизора — о, это снова она, рыжая женщина, которая поет и требует быть смешным для всех! — предлагаешь помощь, смешиваешь вареную докторскую с горячей картошкой в ажурных праздничных салатниках — их достают из пыльного шкафа только несколько раз в год, — но быстро устаешь от однообразных движений. Весь день маешься, не знаешь, чем заняться; когда за окном темнеет, включаешь цветные гирлянды на елке, смотришь на них, будто играя в гляделки с этим стоглазым чудовищем, и наконец не выдерживаешь. Идешь на кухню, где уже пахнет горячим — мама с бабушкой наряжаются, а ты оттягиваешь момент, когда придется надевать рубашку, зачем, ты ведь дома, не в школе, — и видишь на плите противень с золотой птицей. Это волшебное создание — феникс или говорун, ты уверен, ведь видел их в книжках, — теперь подано к вашему столу и манит, манит, манит; ты встаешь на носочки, рассматриваешь золотистую корочку, вспоминаешь истории о сказочных мальчишках, совавших нос куда не надо, нарушавших правила и заветы, и боишься стать одним из них, но ведь они-то жили в сказках, гуляли по книжным страницам между букв и строчек,

а ты — настоящий. Ты не выдержишь и, стараясь не уронить противень, отламываешь от волшебной золотой птицы ножку, обжигаешь пальцы и губы, пачкаешь штаны капающим жиром, наслаждаешься ни на что не похожим вкусом. Косточку выкинуть не успеваешь — на кухню заходит бабушка. Улыбка ее тут же исчезает, подкрашенные губы становятся кроваво-алыми, и она кричит, подбегает к плите, не обращая на тебя внимания, и плачет так, словно ты съел молодильное яблочко, предназначенное ей одной; падает на стул, всхлипывает — тушь потекла, глаза — два черных колдовских колодца — и приговаривает: «Дуреха, дуреха, дуреха», пока не приходит мама. Она капает лекарство в стакан, разбавляет водой, забирает у тебя косточку, шепчет: «Зачем ты расстраиваешь бабушку?» — и уводит ее полежать, а тебя просит помочь накрыть на стол.

Когда вваливаются родственники — большинство ты не знаешь, для тебя они толстые дяди и худые тети, худые дяди и толстые тети, все красивые, в платьях и рубашках, но почему-то такие старые, выдают возраст словами, движениями, цветом глаз и слоем косметики, — ваш стол уже ломится от еды: графины с компотом и бутылки шампанского, салаты, запавленные майонезом и маслом, нарезанная тонкими ломтиками жирная колбаса, белый и черный хлеб, склизкая селедка под шубой и другая, разложенная на тарелке, а родственники приносят свои салаты и соленья, достают их из пакетов, судков; тети целуют тебя жирными и масляными губами, дяди жмут руки такими же жирными и масляными руками. Ты окружен культурой обжорства — поймешь это позже, когда сможешь сам решать, что и как есть, и тебя будет воротить от воспоминаний об измазанных майонезом ртах, запачканных селедочным маринадом руках; а пока культура обжорства вплетается в твою ДНК, пытается прорасти,

как драконьи зубы из одной сказки, но ты — иной формации. Понимаешь уже тогда. Что-то щелкает внутри. Сидишь рядом с мамой поближе к елке и наблюдаешь, как стремительно наполняются тарелки, как падают излишки на скатерть. Хочешь сорваться с места и убежать, даже не распаковав подарки.

Успокоившаяся бабушка возвращается за полчаса до полуночи, теперь смотрит только на тебя — не со злостью, с грустью. Какой тяжкий грех ты совершил? Из-за него ли тебя выгонят из рая, из-за него ли ты будешь стоять на чужом пороге и не верить в реальность происходящего? Ты не знаешь. И не узнаешь, наверное, никогда. Но в телевизоре вещает очередной дядя — другой, не тот, что заставляет прикладывать руки к экрану и подносить банки воды, — в костюме, говорит умные взрослые слова. Потом бьют куранты — бом-бом, бом-бом; ты зажмуриваешься, уже зная, что не получишь никакого письма в волшебную школу. После радостных возгласов и очередных поцелуев садишься под елку, и рвешь красивую бумагу — кто-то обошелся без нее, положил подарки в дешевые пакеты, — и достаешь любимых роботов, упаковку толстых фломастеров, не похожих ни на одни из твоих, — кто-то шепчет: «Мой племянка привез из Германии, как их там много, не представляешь!» — и наконец добираться до подарка мамы и бабушки.

Смотришь на толстую пачку журналов с Человеком-пауком и на такую же толстую пачку коллекционных карточек; на карандаши, краски и цветную бумагу. Смотришь и кидаешься обнимать маму с бабушкой, позабыв о волшебных письмах — ведь еще есть Дед Мороз, в которого в школе уже никто не верит, но ты не оставляешь надежд. Мама гладит тебя по голове, целует в макушку, а бабушка вытирает губы салфеткой, словно видит там

жир волшебной золотой птицы, привезенной из далеких земель царя Салтана.

Ночью — этот ли Новый год, или следующий, или предыдущий? — ты просыпаешься от странного шороха. Прислушиваешься. Думаешь, что это Дед Мороз, хочешь поймать его, как в рекламе с двумя конфетами-толстяками, сказать ему: «Дедушка?» — тихонечко встаешь и, как спал, в майке, аккуратно шагаешь в коридор, но тут чуть не падаешь на пол от жуткой боли: что-то горит внутри, и ты слышишь — не наяву, в голове, — как с хрустом рвутся твои рисунки, как фломастеровая кровь течет по преступным рукам, как стонет бумага, — и, позабыв о всякой осторожности, бежишь в гостиную — лампочки-гирлянды издевательски мигают, — включаешь свет. Видишь у маленького шкафчика скрюченную бабушку. Босиком, в ночной рубашке, она сидит на полу и рвет рисунки из твоей тайной папочки, на которую впору было бы, умей ты колдовать, как герои твоих любимых книжек, наложить заклятье. Ты не разбираешь, что бабушка бормочет, но слова ее пугают тебя, они черными тенями ложатся на сердце, они, кажется, тушат свет лампочек и издевательских гирлянд, а бабушка рвет-рвет-рвет, не замечает тебя, даже когда ты, громко заревев не столько от обиды, сколько от боли, подбираешь ошметки бумаги. Просыпается мама, забирает тебя — ты брыкаешься, — крепко прижимает к себе и какает то же лекарство, что давала бабушке, когда ты вкусил ее волшебной золотой птицы. Сон приходит незаметно, а утром, протерев красные заплаканные глаза, ты шаркаешь на кухню. Замираешь у закрытой двери: слышишь, как мама ругается с бабушкой, говорит, что так нельзя, а она в ответ — тебе достаточно силуэтов за мутным дверным стеклом, чтобы понять, — сперва молчит и раскладывает вырезанные из газет и журналов полоски

гороскопов и предсказаний, смешивает, выстраивает в колдовские линии, проводит по ним пальцем, как делает каждое утро, пытаясь узнать события грядущего дня, расположение благих звезд и неблагих лун, и только после отвечает маме единым предложением, как делает часто: *«Он не должен это делать это не его дорога я знаю посмотреть во что сложились мои слова так он не станет великим а я хочу чтобы он стал великим я заколдую этот дом я ставлю мир биться в ритме его сердца».*

На зимних каникулах, пока никто не видит, ты долго изучаешь квартиру в поисках потайных мест: ищешь дверцы в волшебную страну и шкафы, запершись в которых можно оказаться в другой реальности. Ты не хочешь бежать из мира обжорства и суеверий — это тебе еще предстоит сделать, — но хочешь спасти свои драгоценные рисунки. Колдовать ты не умеешь. Волшебство заключено только в словах мамы с бабушкой, оно в том страшной ветре, который, тебе кажется, все чаще летит через комнаты — потому ли, что бабушка чаще расчесывает волосы, медленно, наговаривая непонятки под нос? — и ты решаешь прятать частички себя под кровать. Выпрашиваешь у мамы прозрачно-голубую папку с работы.

Теперь тебе особенно есть что прятать.

Вечерами ты читаешь истории о героях и злодеях, растягиваешь удовольствие, чтобы пачка комиксов не закончилась слишком быстро; потом, убедившись, что бабушка не видит, включаешь желтую настольную лампу — она похожа на летнее солнце, так же обжигает кожу, если не выключить вовремя, — и, взяв наточенные карандаши и подаренные фломастеры, открываешь журнал на самой волшебной странице — там предлагают нарисовать героя или злодея, фокусника в стеклянном колпаке или Человека-паука в новом костюме, старого ворчливого газетчика или

огромного ящера. Инструкцию ты читаешь внимательно, боишься не понять скрытый смысл и, один в один следуя написанному, водишь карандашом по бумаге. Герои и злодеи — кривые, косые, с чересчур маленькими головами или недостаточно длинными руками — сперва кажутся черно-белыми теньями. Но вскоре ты открываешь маркеры — вдруг звук снимаемых колпачков слышен на всю квартиру, и сейчас придет бабушка, порвет все, над чем ты так старался, — и добавляешь объема, цвета. Внимательно смотришь на рисунок под светом лампы и, довольный даже самым неудачным творением, прячешь листок в папку, папку — под кровать.

С Сережкой и Пашкой за новогодние праздники ты встречаешься всего пару раз. Вместе с родителями вы гуляете по центру города и втроем — давно придумали эту хитрость — выклянчиваете зайти в магазин игрушек и выходите оттуда с конфетами и новыми недорогими роботами, самой свежей линейкой, только что привезенной из далеких стран, названия которых вы не выговариваете, зато прекрасно, как скороговорку, выкрикиваете имена своих героев — Придакс, Такадокс, Мантак! — и уже придумываете план, как будете хвастаться перед Вовкой, уехавшим куда-то в санаторий.

Ты не говоришь никому о своих комиксах, о своих героях и злодеях. Ты уже придумал, как будешь хвастаться. И ты помнишь свое обещание.

Когда каникулы заканчиваются — скоро тебе вновь носить в школу лыжи, вновь потным переодеваться на русский язык и сидеть на унылых линейках, пока воротник белой рубашки будет душить тебя, — ты кладешь в портфель пачку комиксов, карточки, ждавшие своего часа, и всего один рисунок, тайком — ты даже прикрыл дверь в комнату — вытащенный из папки.



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

